

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» — перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и искажил, верней — разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь — а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершеншил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан — 1955—1958

искажён — 1964

восстановлен — 1968

*Посвящаю
друзьям по шарашке*

Торпеда
Промах
Шарашка
Протестантское Рождество
Хьюги-Буги
Мирный быт
Женское сердце
Остановись, мгновенье!
Пятого года упряжки
Розенкрейцеры
Зачарованный замок
Семёрка
И надо было солгать...
Синий свет
Девушку! Девушку!
Тройка лгунов
Насчёт кипятка
Сивка-Бурка
Юбиляр
Этюд о великой жизни
Верните нам смертную казнь!
Император Земли
Язык — орудие производства
Бездна зовёт назад
Церковь Никиты Мученика
Пилка дров
Немного методики
Работа младшины
Работа подполковника
Недоуменный робот

Как штопать носки
На путях к миллиону
Штрафные палочки
Звуковиды
Поцелуи запрещаются
Фоноскопия
Немой набат
Изменяй мне!
Красиво сказать — в тайгу
Свидание
Ещё одно
И у молодых
Женщина мыла лестницу
На просторе
Псы империализма
Замок святого Грааля
Разговор три нуля
Двойник
Жизнь — не роман
Старая дева
Огонь и сено
За воскресение мёртвых!
Ковчег
Досужные затеи
Князь Игорь
Кончая двадцатый
Арестантские мелочи
Лицейский стол
Улыбка Будды
Но и совесть даётся один только раз
Тверской дядюшка
Два зятя
Зубр

Первыми вступали в города
Поединок не по правилам
Хождение в народ
Спиридон
Критерий Спиридона
Под закрытым забралом
Дотги
Будем считать, что этого не было
Гражданские храмы
Кольцо обид
Рассвет понедельника
Четыре гвоздя
Любимая профессия
Решение принимается
Освобождённый секретарь
Решение объясняется
Сто сорок семь рублей
Техно-элита
Воспитание оптимизма
Премьер-стукач
Насчёт расстрелять
Князь Курбский
Не ловец человеков
У истоков науки
Передовое мировоззрение
Перепёлочка
На задней лестнице
Да оставит надежду входящий
Хранить вечно
Второе дыхание
Всегда врасплох
Прощай, шарашка!
Мясо

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной.

Стёкла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя всё это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-длгое. Концами пальцев он перекидывал пёстрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нём.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но — его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой — пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному-единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают столоначальников,

справкодатели на лесенках облазывают картотеки, дело-производители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного Рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сидение.

А у *тех* пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри — страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодно.

Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет *там*?.. в четверг-в пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.

Но будет поздно.

О, чёрт — ознобом повело его плечи, непривычные к тяжестим. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгрёб всё со стола и понёс в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый смеркающий день.

От быстрых движений полегчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком — это он сам шёл на линкор — торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнал его вниз, там велел налево, под перевозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался — откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку — заметнее. Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечные монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно не опасно — другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь — остаёмся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий — а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет — Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпедо, разворачиваясь по-лучше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошёл по площади, стараясь умерять шаг.

Высохло в горле, во рту — тем высыханием, когда никакое питьё не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красное «М» над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни пёрышка, ни хвостика не оставить ищейкам.

Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречающая девушка.

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! — а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но, кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шёл дальше, в метро.

Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

— Это секретариат? — он старался изменять голос.

— Да.

— Прошу срочно соединить меня с посланцем.

— Посла вызвать нельзя, — очень чисто по-русски ответили ему. — А вы по какому вопросу?

— Тогда — поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут — пусть так и будет, второй раз не пробовать.

— Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым в трубку сказали:

— Слушают вас. Что ви хотел?

— Господин военный атташе? — резко спросил Иннокентий.

— Йес, авиэйшн, — проронили с того конца.

Что оставалось? Экрания рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно Иннокентий внушал:

— Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

— Ждите момент, — неторопливо отвечали ему. — Я позову переводчик.

— Я не могу ждать! — кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) — И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

— Я вас плёхо понимал, — спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался отдалённо в комнате. — Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают русски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

— Слушайте! Слушайте! — в отчаянии восклицал он. — На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

— Как? Какой авеню? — удивился атташе и задумался. — А откуда я знаю, что ви говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую? — хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затынулся сигаретой.

— Атомная бомба? — недоверчиво повторил он. — А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щёлкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: «Служебный». Или, поновой, важную зеркальную табличку: «Вход посторонним категорически воспрещён». А то и грозный вахтёр сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуются, как всё запретное, неведь что.

А там — такой же простой коридор, может почище. Средней струёй простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру часто расставлены плетельницы.

Только бесплодно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же — все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании Московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе Шестого Управления МГБ как «Пост А-1», — дежурили два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить должноствовало двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека — инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да ещё и канун западного Рождества.

Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучёбе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на четвёртом объединиться, и это снова правильно, а с пятого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно. Нипочём бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриним мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не ползет, а парторг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из «Краткого курса» к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они ещё не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Ещё с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных причин, их мазали зелёнкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпьями. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребёнка — и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешёл удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать

края струпьев. При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... а... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?.. и ещё как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включенные автоматически. Не снимая обнажённой ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

— А откуда я знаю, что вы говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую?

— Атомная бомба? А кто такой вы? Назовите ваш фамилия.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву, такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны — и тут только сообразил, что, вопреки инструкции, не засёк номера абонента.

Первое движение было — обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью ещё в одном месте, — и откинул вздорную мысль. Конечно дублируется, и за укрытие такого разговора — расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники».

— Генка! Генка! — хрипло позвал он, спуская брючины. — Аврал! Звони в оперативку! Может, ещё захватят!..

- Новички!
- Новичков привезли!
- Откуда, товарищи?
- Приятели, откуда?
- А что это у вас на груди, на шапке — пятна какие-то?
- Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.
- То есть как — *номера*?!
— Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях — номера? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что — *прогрессивно*?
- Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.
- Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!
- Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс! *На цырлах!*
- «Беломор-Ява» или «Беломор-Дукат»?
- Пополам.
- Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь.
- А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?
- Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.
- Смотри, новички!
- Новичков привезли.
- Э! орлы! Что вы, живых эзков не видели? Весь коридор загородили!
- Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!
- А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?
- Из разных. Из Речлага...
- ...из Дубравлага...
- Что-то я, девятый год сижу, — таких не слышал.
- А это новые, *Особлаг*и. Их учредили только с сорок восьмого.

- У самого входа в венский Пратер меня загребли и — в *воронок*.
- Подожди, Митёк, давай новичков послушаем...
- Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.
- Вторая смена! На ужин!
- Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...
- Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.
- Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?
- Ну, тихо, Валентуля!
- Простите, как вас зовут?
- Лев Григорьевич.
- Вы сами тоже инженер?
- Нет, я филолог.
- Филолог? Здесь держат даже филологов?
- Вы спросите, кого здесь *не* держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.
- И что ж он делает?
- Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! — самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.
- Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!
- Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?
- Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! Пошло.
- Как вы сказали? Пшённая каша — пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!
- Наверно, не пшённая, наверно, магарá?
- Да вы с ума сошли — магара! Попробовали б они нам магару! Мы б им...
- А как сейчас на пересылках кормят?

- На челябинской пересылке...
- На челябинской новой или челябинской старой?
- По вашему вопросу видно знатока. На новой...
- Что там, по-прежнему ватерклозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?
- По-прежнему.
- Вы сказали — *шарашка*. Что значит — шарашка?
- А по сколько хлеба здесь дают?
- Кто ещё не ужинал? Вторая смена!
- Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный — на столах.
- Простите, как — *на столах*?
- Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хочешь — не бери.
- Простите, здесь что — Европа, что ли?
- Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.
- Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.
- Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.
- Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте, — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? — говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не *курочат*.
- Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.
- Так вы работали на Днепрострое?
- Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.
- То есть как?
- А я, видите ли, продал его немцам.
- Днепрогэс? Его же взорвали!
- Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.
- Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!
- И назад, Валентуля, и — назад!
- Да! И скорей назад, конечно!

— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии, — никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют эзков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю!!

— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое *шарашка*? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светломных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

Семь раз обвитый стройными стенами...

Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...

...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...

Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом...

Их облик был ни весел, ни суров...

Я видеть мог, что некий многочестный

И высший сонм уединился там...

Скажи, кто эти, не в пример другим

Почтённые среди толпы окрестной?..

— Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды»: «Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода».

Ёлка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь угол и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными, наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины — устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — крупный мужчина с широкой чёрной бородой — был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном *Hochdeutsch*, обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхнегерманским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через

фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин-«звукóвок» уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической Германии; а кто попроще, посолдатистей — с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не вращая в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена, — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это, Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, тарасил глаза на рождественские лампочки круглолицый, с просвечивающими, как у поросёнка, розовыми ушами юнец Густав из *Hitlerjugend* (взятый в плен через неделю после конца войны).

И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали по-

бедителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструг своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Оберштурмбаннфюрер SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и двоянной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Рейхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерян-

ных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильмена.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя), — только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, — было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан

к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран, и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аде-науэр вызовет их отсюда.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашеным разволокнувшимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригождались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шашка именовалась «Спецтюрьмой № 1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.

Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к *оперу* писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов «царские врата»).

Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: «АКУСТИЧЕСКАЯ».

5

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радиофирмы «Лоренц».

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежёлтый рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, висела звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и верх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиной к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скорособранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вокруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шёлковая сорочка, хотя и линялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включённым паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряжённо разглядывал радиосхему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

— Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрублявая фразы:

— Лев Григорьич! *Отрывайтесь! Рвите когти!* Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать? — И поднял на Рубина очень удивлённые светлые мальчишеские глаза. — Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! — раздельно выговаривал он. — Ведь вы же не инженер!! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

— Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

— Эт-то не мой стиль! Я — первоклассный инженер, учтите, парниша! — резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нём была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни, и движения мальчишечьи, — никак нельзя было поверить, что он кончил институт ещё до войны, прошёл немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

— Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

— Ка-кие ещё характеристики?! — Валентин правдоподобно играл в возмущение. — Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю женщин!!

Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки.

Ещё один заключённый от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятия.

— Кажется, только теоретически, — скупающим жевательным движением ответил Рубин.

— И безумно люблю тратить деньги!

— Но их у вас...

— Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин — и всё время разных! — надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег — надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер, — надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлиненное лицо Валентули было задорно поднято к Рубину.

— Ага! — воскликнул тот ээк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. — Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! Колокольчатый у него! Так я и запишу, а? Такой голос — по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

— Ах, что за чушь! — отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Двоём они рассматривали молча.

— А порядочно мы продвинулись, Глебка, — сказал Рубин. — В сочетании с *видимой речью* у нас хорошее оружие. Очень скоро мы таки с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

— Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты — слушай.

Они оба нагнулись к приёмнику, но очень мешал джаз.

— Валентайн! — сказал Глеб. — Уступите. Проявите великодушие!

— Я уже проявил, — огрызнулся тот, — сляпал вам приёмник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдёте никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

— Валентин Мартыныч! Это правда невозможно — слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень нравилось...)

— Серафима Витальевна! Это чудовищно! — Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его напереклон и жестикულიровал, как с трибуны: — Нормальному здоровому

человеку как может не нравиться энергичный, бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьём! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обозрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! — ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. — Кого-нибудь, *ça dépend!* Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

— Да у него опять *сдвиг фаз!* — тревожно сказал Рубин. — Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз.

Валентуля ужаленно повернулся:

— Лев Григорьич! Кто вам дал право... ?

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобождённая бегущая мелодия Семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было — уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

— Инженер Пряничков! Вы всё ещё вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Пряничкова посерьёзнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

— Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушёл, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в своё кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, — и это был скромный непарадный конец Семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

— Дай по буквам, не слышу, — отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

— Всегда мне не везёт, говорю, — хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь. — Вот — сонату пропустил...

— Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! — проворчал приятель. — А соната оч-чень хороша.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Торпеда	11
2. Промах	16
3. Шарашка	19
4. Протестантское Рождество	23
5. Хьюги-Буги	28
6. Мирный быт	33
7. Женское сердце	39
8. Остановись, мгновенье!	45
9. Пятого года упряжки	50
10. Розенкрейцеры	56
11. Зачарованный замок	63
12. Семёрка	70
13. И надо было солгать...	78
14. Синий свет	82
15. Девушку! Девушку!	88
16. Тройка лунов	94
17. Насчёт кипятка	104
18. Сивка-Бурка	108
19. Юбиляр	112
20. Этюд о великой жизни	121
21. Верните нам смертную казнь!	145
22. Император Земли	161
23. Язык — орудие производства	167
24. Бездна зовёт назад	173
25. Церковь Никиты Мученика	180
26. Пилка дров	188
27. Немного методики	198
28. Работа младшины	204
29. Работа подполковника	212

30. Недоуменный робот	221
31. Как штопать носки	227
32. На путях к миллиону	238
33. Штрафные палочки	246
34. Звуковиды	255
35. Поцелуи запрещаются	262
36. Фоноскопия	266
37. Немой набат	271
38. Изменяй мне!	281
39. Красиво сказать — в тайгу	286
40. Свидание	293
41. Ещё одно	302
42. И у молодых	308
43. Женщина мыла лестницу	315
44. На просторе	323
45. Псы империализма	342
46. Замок святого Грааля	352
47. Разговор три нуля	364
48. Двойник	371
49. Жизнь — не роман	377
50. Старая дева	389
51. Огонь и сено	398
52. За воскресение мёртвых!	404
53. Ковчег	409
54. Досужные затеи	412
55. Князь Игорь	420
56. Кончая двадцатый	428
57. Арестантские мелочи	434
58. Лицейский стол	441
59. Улыбка Будды	453
60. Но и совесть даётся один только раз	465
61. Тверской дядюшка	478
62. Два зятя	491
63. Зубр	501
64. Первыми вступали в города	509
65. Поединок не по правилам	519
66. Хождение в народ	530
67. Спиридон	533

68. Критерий Спиридона	543
69. Под закрытым забралом	549
70. Дотти	560
71. Будем считать, что этого не было	563
72. Гражданские храмы	571
73. Кольцо обид	576
74. Рассвет понедельника	582
75. Четыре гвоздя	591
76. Любимая профессия	596
77. Решение принимается	605
78. Освобождённый секретарь	610
79. Решение объясняется	620
80. Сто сорок семь рублей	631
81. Техно-элита	642
82. Воспитание оптимизма	645
83. Премьер-стукач	651
84. Насчёт расстрелять	655
85. Князь Курбский	665
86. Не ловец человеков	671
87. У истоков науки	680
88. Передовое мировоззрение	689
89. Перепёлочка	701
90. На задней лестнице	711
91. Да оставит надежду входящий	721
92. Хранить вечно	732
93. Второе дыхание	748
94. Всегда врасплох	764
95. Прощай, шарашка!	769
96. Мясо	783

Солженицын А.

С 60 В круге первом : роман / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 800 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-08145-1

Александр Солженицын — русский писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе («За нравственную силу, с которой он продолжил традиции великой русской литературы», 1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2006), академик Российской академии наук.

Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года — на «шарашке» (научно-исследовательском институте-тюрьме для заключенных специалистов), на даче Сталина, в студенческом общежитии, в доме сталинского вельможи, на Лубянке. Динамичный сюжет вокруг поиска дипломата, выдавшего государственную тайну. Переплетение многих действующих лиц, быт «шарашки», споры и раздумья о судьбах России, о личном участии каждого в истории страны.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

**АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
В КРУГЕ ПЕРВОМ**

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректор Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 20.12.2017. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 35,25. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-16158-04-R